

# АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН

ДОЛГ  
ПРЕЖДЕ  
ВСЕГО

Александр Герцен  
**Долг прежде всего**

«Public Domain»

1851

## **Герцен А. И.**

Долг прежде всего / А. И. Герцен — «Public Domain», 1851

«Я считал бы себя преступным, если б не исполнил и в сей настоящий год священного долга моего и не принес бы вашему превосходительству наиусерднейшего поздравления с наступающим высокаторжественным праздником...»

## Содержание

Александр Герцен	5
I. За воротами	6
II. Дядюшка Лев Степанович	10
Конец ознакомительного фрагмента.	15

## **Александр Герцен Долг прежде всего**

«Я считал бы себя преступным, если б не исполнил и в сей настоящий год священного долга моего и не принес бы вашему превосходительству наиусерднейшего поздравления с наступающим высокаторжественным праздником».

## І. За воротами

Сыну Михаила Степановича Столыгина было лет четырнадцать... но с этого начать невозможно; для того чтоб принять участие в сыне, надобно узнать отца, надобно сколько-нибудь узнать почтенное и доблестное семейство Столыгиных. Мне даже хотелось бы основательно познакомить читателей моих с ним, но не знаю, как лучше приняться.

Мне приходило в голову начать с исторических преданий их знаменитого рода. Я хотел слегка упомянуть, как Трифон Столыгин успел в две недели три раза присягнуть, раз Владиславу, раз Тушинскому вору, раз не помню кому, – и всем изменил; я хотел описать их богатые достояния, их села, в которых церкви были пышно украшены благочестивыми и смиренными приношениями помещиков, по-видимому не столь смиренных в светских отношениях, что доказывали полуразвалившиеся, кривые, худо крытые и подпертые шестью избы; но, боясь утомить внимание ваше, я скромно решаюсь начать не дальше как за воротами большого московского дома Михаила Степановича Столыгина, что на Яузе. Ограда около дома каменная, ворота толстого дерева, с одной стороны калитка истинная, с другой ложная, для симметрии, в ней вставлена доска, на доске сидит обтерханый старик, по-видимому нищий.

Старик этот, впрочем, не был нищий, а дворник Михайла Степановича.

Пятьдесят второй год пошел с тех пор, как красивый русский юноша Ефимка вышел в первый раз за эти ворота с метлою в руках и горькими слезами на глазах. Дядя Михаила Степановича, объезжая свои поместья, привез его из Симбирска, не потому что ему особенно нужен был мальчик, а так, ему понравился добрый вид Ефимки, он и решился устроить его судьбу. Устроил он ее прочно, как видите. Ефимка мел юношей, мел с пробивающимся усом, мел с обкладистой бородой, мел с проседью, мел совсем седой и теперь метет с пожелтевшей бородой, с ногами, которые подгибаются, с глазами, которые плохо видят. Одно сберег он от юности – название Ефимки; впрочем, страннее этого патриархального названия было то, что он действительно не развился в Ефимы. По мере того как он свикался с своей одинокой жизнью, по мере того как страсть к двору и к улице у него делалась сильнее и доходила до того, что он вставал раза два, три ночью и осматривал двор с пытливым любопытством собаки, несмотря на то, что ворота были заперты и две настоящих собаки спущены с цепи, – в нем пропадала и живость и развязность, круг его понятий становился уже и уже, мысли смутнее, тусклее. Раз, лет за двадцать до нашего рассказа, ему взошла в голову дурь – жениться на кучеровой дочери; она была и не прочь, но барин сказал, что это вздор, что он с ума сошел, с какой стати ему жениться – тем дело и кончилось. Ефимка потосковал, никому не говорил о том ни слова и стал попивать. К старости он сделался кротким, тихим зверем, страдавшим от холода и от боли в пояснице, веселившимся от сивухи и нюхательного табаку, который ему поставлял соседний лавочник за то, чтоб он мел улицу перед лавочкой. Других сильных страстей у него не было, если мы не примем за страсть его безусловной послушливости всем, кто хотел приказывать, и безграничного страха перед Михаилом Степановичем.

Нельзя сказать, чтобы сношения Ефимки с Михаилом Степановичем были особенно часты или важны; они ограничивались строгими выговорами, сопряженными с сильными угрозами за то, что мостовая портится, за то, что тротуарные столбы гниют, за то, что за них зацепляются телеги и сани; Ефимка чувствовал свою вину и со вздохом поминал то блаженное время, когда улиц не мостили и тротуаров не чинили по очень простой причине – потому что их не было.

Сношение другого рода, более приятное и торжественное, повторялось всякий год один раз. В светлое воскресенье вся дворня приходила христосоваться с барином. При чем Михайло Степанович, обыкновенно угрюмый и раздраженный, менял гнев на милость и дарил своих слуг ласковым словом – отчасти в предупреждение других подарков. «А помнишь, – говорил

ежегодно Михайло Степанович Ефимке, обтирая губы после христосования, – помнишь, как ты меня возил на салазках и делал снеговую гору?» Сердце прыгало от радости у старика при этих словах, и он торопился отвечать: «Как же, батюшка, кормилец ты наш, мне-то не помнить, оно ведь еще при покойном дядюшке вашей милости, при Льве Степановиче было, помню, вот словно вчера». – «Ну, оно вчера не вчера, – прибавлял Михаила Степанович, улыбаясь, – а небось пятой десяток есть. Смотри же, Ефимка, праздник праздником, а улицу мети, да пьяных много теперь шляется, так ты, как смеркнется, ворота и запри. Что, не крадут ли булыжник?» – «Словно глаз свой берегу, батюшка, и ночью выхожу раз, другой поглядеть», – отвечал дворник – и барин давал знак, чтоб он шел с красным яйцом, данным ему на обмен.

Этим периодическим разговором ограничивались личные сношения двух ровесников, живших лет пятьдесят под одной крышей. Ефимка бывал очень доволен аристократическими воспоминаниями и обыкновенно вечером в первый праздник, не совсем трезвый, рассказывал кому-нибудь в грязной и душной кучерской, как было дело, прибавляя: «Ведь подумаешь, какая память у Михаила-то Степановича, помнит что – а ведь это сущая правда, бывало, меня заложит в салазки, а я вожу, а он-то знай кнутиком погоняет – ей-богу, – а сколько годов, подумаешь», и он, качая головою, развязывал онучи и засыпал на печи, подложивши свой армяк (постели он еще не успел завести в полвека), думая, вероятно, о суете жизни человеческой и о прочности некоторых общественных положений, например дворников.

Итак, Ефимка сидел у ворот. Сначала он медленно, больше из удовольствия, нежели для пользы, подгонял грязную воду в канавке метлой, потом понюхал табаку, посидел, посмотрел и задремал. Вероятно, он довольно долго бы проспал, в товариществе дворной собаки плебейского происхождения, черной с белыми пятнами, длинною жесткою шерстью и изгрызенным ухом, которого сторонки она приподнимала врозь, чтоб сгонять мух, если бы их обоих не разбудила женщина средних лет.

Женщина эта, тщательно закутанная, в шляпке с опущенным вуалем, давно показалась на улице; она медленно шла по противоположному тротуару и с беспокойным вниманием смотрела, что делается на дворе Столыгина. На дворе все было тихо, казачок в сенях пощелкивал орехи, кучер возле сарая чистил хомут и курил из крошечного чубука, однако и этого довольно было, чтоб отстрашать ее; она прошла мимо и через четверть часа явилась на том тротуаре, на котором спал Ефим. Собака заворчала было, но вдруг бросилась со всеми собачьими изъявлениями радости к женщине, она испугалась ее ласк и отошла как можно скорее. Осмотревшись еще раз, что делается на дворе, она решилась подойти к Ефиму и назвать его.

– Ась, – пробормотал Ефим, – чего вам?

Он не был так счастлив, как его приятель с раздвоенным ухом, и не узнал, кто с ними говорит.

– Ефимушка, – продолжала незнакомка, – вызови сюда Кирилловну.

– Настасью Кирилловну, а на что вам ее? – спросил дворник, что-то запинаясь.

– Да ты меня разве не узнаешь?

– Ах ты мать, пресвятая богородица, – отвечал старик и вскочил с лавки, – глаза-то какие стали, матушка... эх я кого не опознал, простите, матушка, из ума выжил на старости лет, так уж никуда не гожусь.

– Послушай, Ефим, мне некогда, коли можно, вызови Настасью.

– Слушаю, матушка, слушаю, отчего же нельзя, – оно все можно, я сейчас для тебя-то сбегал бы, – да вот, мать ты моя родная, – и старик чесал пожелтелые волосы свои, – да как бы, то есть, Тит-то Трофимович не сведал? – Женщина смотрела на него с состраданием и молчала; старик продолжал: – Боюсь, ох боюсь, матушка, кости старые, лета какие, а ведь у нас кучер Ненподист, не приведи господь, какая тяжелая рука, так в конюшне богу душу и отдашь, христианский долг не исполнишь.

Старик еще не кончил своей речи, как из ворот выскочила старушонка, худошавая, подслепая, вся в морщинах, с седыми волосами.

– Ах, матушка, не извольте слушать, что вам старый сыч этот напевает, пожалуйте ко мне, я проведу вас, – ведь из окна, матушка, узнала, походку-то вашу узнала, так сердце-то и забилося, ах, мол, наша барыня идет, шепчу я сама себе да на половину к Анатолию Михайловичу бегу, а тут попался казачок Ванюшка, прядовитой у нас такой, шпионишка мерзкой: что, спросила я, барин-то спит? – Спит еще – чтоб ему тут, право, не при вас будь сказано.

Все это она так проворно говорила с пресильной мимикой, что Марья Валериановна не успела раскрыть рта и, наконец уж, перебила ее вопросом:

– Настасьюшка, да здоров ли он?

– Ничего, матушка, ну только худенькой такой. Какое и житье-то! Ведь аспид-то наш на то и взял их, чтоб было над кем зло изливать, человеконенавистник, ржа, которая, на что железо, и то поедом ест. У Натоль же Михайловича, извольте знать, какой нрав, весь в маменьку, не то, что наше холопское дело, выйдешь за дверь да самого обругаешь вдвое, прости господи, ну, а они все к сердцу принимают.

Марья Валериановна утерла наскоро слезу и шепнула: «Пойдем же, Настасьюшка».

Настасья строго-настрога наказала Ефимке, если Тит подойдет казачка спросить, с кем она говорила за воротами и с кем взошла, сказать со швеей, мол, с Ольгой Петровной, что живет у Покровских ворот. После этого она повела Марью Валериановну через двор на заднее крыльцо, потом по темной лестнице, которую вряд мели ли когда-нибудь после отстройки дома. Лестница эта шла в маленькую каморку, отведенную Настасье; эта каморка была цель ее желаний, предмет домогательств ее в продолжение пятнадцати лет. Ни у кого в доме не было особой комнаты, кроме у Тита. Михайло Степанович, наконец, дозволил занять ее, с условием не считать ее своею, никогда в ней не сидеть, а так покамест положить свои пожитки. В этой маленькой комнате стоял небольшой деревянный стол, окрашенный временем, на нем покоился покрытый полотенцем самовар, в соседстве чайника и двух опрокинутых чашек. На стене висели две головки, рисованные черным карандашом, одна изображала поврежденную женщину, которая смотрела из картины, страшно вытаращив глаза, вместо кудрей у нее были черви – должно думать, что цель была представить Медузу. Другая представляла какого-то жандарма в каске, вероятно выходившего из воды, судя по голому плечу, лицо у него было отвратительно правильно, нос вроде ионийской колонны, опрокинутый волютами вниз, голову он держал крепко на сторону, разумеется, этот жандарм был – Александр Македонский.

Но перед этими картинами, нарисованными детской рукой, остановилась Марья Валериановна и не могла более удерживаться. Она закрыла глаза платком, и Настасья плакала ото всей души, приговаривая: «Да это он, мой голубчик, в именины подарил».

– Ну, как кто взойдет сюда, Настасьюшка, что тогда делать?

– Не извольте беспокоиться, матушка, фискала-то нашего дома нет. Вишь, староста приехал, да обоз с дровами, что ли, пришел, так он и пошел в трактир принимать; самый вредный человек и преалчный, никакой совести нет, чаю пары две выпьет с французской водкой как следует, да потребует бутылку белого, рыбы, икры; как чрево выносит, небось седьмой десяток живет, да ведь что, матушка, какой неочестливый, и сына-то своего приведет, и того угощай. Ну, да он угодит еще под красную шапку, сын-то, озорник. Покуда старой-то пес жив, так все шито и крыто, а как бог по душу пошлет, мы все выведем, и как синенькая у кучера пропала...

Длинная речь in Titum осталась неоконченною, молодой человек лет тринадцати, стройный, милый и бледный от внутреннего движения, бросился, не говоря ни слова, на шею Марьи Валериановны и спрятал голову на ее груди; она гладила его волосы, смеялась, плакала, целовала его. «Ну, привел же бог, привел же бог, – говорила она. – Да дай же посмотреть на тебя...», и она всматривалась долго, с тем упоением преданным, святым, с каким может смотреть одна



любовь матери. Она была счастлива, он так хорош, черты его так невинно чисты и открыты, она молилась ему.

– Дружок ты мой, какой ты худенькой, – говорила она ему, – здоров ли ты?

– Я здоров, маменька, – отвечал молодой человек. – Я только боюсь, что папаша узнает, спросит меня.

– И, батюшка, – вмешалась няня, – что это, уж такой умник и не умеете держать ответ. Правду сказать, это только ваш папаша воображает, что его в свете никто не проведет, а его вся дворня надувает.

Молодой человек не отвечал, но сделал движение, которое делают все нервные люди, когда нож скрипит по тарелке.

## II. Дядюшка Лев Степанович

Кажется, что и хорошо я начал мой рассказ, а опять приходится отступить, далеко отступить, иначе не объяснишь сцены, происходившей в маленькой комнатке Настасьи.

Начнемте там, где оканчиваются воспоминания Ефимки; он возил молодого барина в салазках при жизни «дяденьки». Дяденька Лев Степанович уже потому заслуживает, чтобы начать с него, что, несмотря на всю патриархальную дикость свою, он первый ручной представитель Столыгиных. Этим он обязан слепой любви родителей к его меньшему брату. Степушку никогда бы не решились они отправить на службу, отдать в чужие руки; Левушку, напротив, родители не жалели, и как только он кончил курс своего воспитания, то есть научился читать по-русски и писать вопреки всем правилам орфографии, его отправили в Петербург. Послуживши лет десять в гвардии, он перешел в гражданскую службу, был советником, был впоследствии президентом какой-то коллегии и в большой близости с кем-то из временщиков. Патрон его, долго умевший искусно удержаться в силе в классическое время падений и успехов, воцарений и низвержений, после Петра I и до Екатерины II, потерял, наконец, равновесие и исчез в своих малороссийских вотчинах. Помощник и ставленник его Лев Степанович премудро и вовремя умел отделить свою судьбу от судьбы патрона, премудро успел жениться на племяннице другого временщика, которую тот не знал куда девать, и, наконец, что премудрее всего вместе, Лев Степанович, получив аннинскую кавалерию, вышел в отставку и отправился в Москву для устройства имения, уважаемый всеми как честный, добрый, солидный и деловой человек.

Не надобно думать, чтоб в его удалении был один расчет или дипломатия; причина столько же сильная звала его воротиться к более родной среде. В Петербурге, несмотря на успехи по службе, ему все было что-то неловко, точно в гостях; ему захотелось покоя в почетном раздолье помещичьей жизни, захотелось пожить на своей воле; родители его давно померли, Степушка был отделен, именье, доставшееся Льву Степановичу, было одно из богатейших под Москвою, верст сотню по Можайке от города. Как же не ехать ему было в свои березовые и липовые рощи, в свой старый отцовский дом, где подобострастная дворня и испуганное село готово было его встретить с страхом и трепетом, поклониться ему в землю и подойти к ручке.

В Москве он остался недолго, заложил на Яузе, вместо деревянного дома, каменные палаты и уехал в Липовку, изредка наезжая присмотреть за постройкой. За хозяйство Лев Степанович принялся усердно; он и на службе своего именья не расстроил, а напротив, к родовым тысяче душам прикупил тысячи полторы; но теперь, не вдаваясь в агрономические рассуждения, он разом сделался смышленным помещиком, с той сноровкой, с которой из лейб-гвардии капитанов стал в год времени деловым советником. Удвоивая доходы, он улучшил состояние крестьян. Он и хлебом поможет, и овса на посев даст, и корову или лошадь даст в замену падшей, ну да после держи ухо востро. Вдруг никто не думает, не гадают, барин с старостой и с десятскими на двор. «Эй ты, Акулька, покажи-ка горшки для молока». – Не вымыты, тут бабе и расправа. «А ты, Нефед, покажь-ка соху, да и борону, выведи лошадь-то», – словом, поучал их, как неразумных детей, и мужички рассказывали долго после его смерти «о порядках старого барина», прибавляя: «Точно, бывало, спуску не дает, ну, а только умница был, все знал наше крестьянское дело досконально и правого не тронет, то есть учитель был».

Дворовых он держал без числа и меры, у него были мальчишки, единственно употребляемые днем на то, чтоб чистить клетки соловьев, а ночью ходить по двору, чтоб собаки не лаяли близ господского дома. У него были девочки, которых все назначение состояло в том, чтоб зимой стирать воду с оконниц, а летом носить уголья и тазики для варенья. Нельзя сказать, чтоб такое количество прислуги его вводило в особенно важные траты: все, начиная с самых

личностей, было домашнее: рожь и гречиха, горох и капуста, и не один корм... Умрет корова, выделают кожу, сапожник сошьет портному сапоги, в то время как портной ему кроит куртку из домашнего сукна цвету маренго-клер и широкие панталоны из небеленого холста, которым были обложены рабочие бабы. Притом у Льва Степановича был неотъемлемый талант воспитывать дворню, – талант совершенно утраченный в наше время; он вселял с юных лет такой страх, что даже его фаворит и долею лазутчик, камердинер Тит Трофимов, гроза всей дворни, не всегда обращавший внимание на приказы барыни, сознавался в минуты откровенности и сердечных излияний, что ни разу не входил в спальню барина без особого чувства страха, особенно утром, не зная, в каком расположении Лев Степанович. Дивиться нечему. Выгоды и почет барского фавёра очень недаром доставались Титу, особенно потому, что он часто попался на глаза. Лев Степанович был человек характерный, сдерживать себя не считал нужным, и, когда утром он выходил к чаю с красными глазами, сама Марфа Петровна долго не смела начать разговор. В эти «характерные» минуты сильно доставалось Титу, – побьет его, бывало, да и пошлет к барыне: «Пооди, – говорит, – покажи ей свою рожу и скажи – вот, мол, как дураков учат, людей делают из скотов». Для Марфы Петровны, в ее скучной и однообразной жизни, подобные случаи служили развлечением, даже она находила своего рода удовольствие в унижении гордого и высокомерного Тита.

Действительно, развлечений в ее жизни было мало, особенно светских. Детей им бог не дал. Пыталась она и ворожить, и заговариваться, и пить всякую дрянь, и к Троице-Сергию ходила пешком, и Титову сестру посылала в Киево-Печерскую лавру, откуда она ей принесла колечко с раки Варвары-мученицы, но детей все не было. Нельзя сказать, чтоб Лев Степанович особенно был оттого несчастен, однако он сердился за это, как за беспорядок, и упрекал в минуты досады свою жену довольно оригинальным образом, говоря: «У меня жену бог даровал глупее таракана, что такое таракан, нечистота, а детей выводит». При этом видно было гордое сознание, что он с своей стороны себя в этом не винит – да и в самом деле, без вопиющей несправедливости мудрено было винить Льва Степановича, взяв во внимание хоть одно разительное сходство с ним поваровых детей. Главное, что сердило Льва Степановича, это отсутствие цели в хозяйстве и устройстве имения. «Я, – говорил он, – денно и ночью хлопочу, и запашку удвоил, и порядок завел, и лес берегу, и денег не трачу, а подумаю на что, сам не знаю; точно управляющий братнина сына, а тот возьмет все, да и спасибо не скажет, я его знаю, по матери пошел, баба продувная была, и в нем хамовой крови довольно. Оно, конечно, это мой долг, на то я и поставлен богом в помещики, чтобы хозяйничать, на том свете с меня спросится; все же лучше, если бы был настоящий наследник!»

И Лев Степанович грустно качал головою, сидя на жестких креслах, обитых черной кожей, приколоченной медными гвоздочками. Марфа Петровна горько плакивала от подобных разговоров и за светские лишения прибегала к духовным утешениям.

Возле самого господского дома иждивением Льва Степановича была воздвигнута каменная церковь о трех приделах. Спальня выходила окнами к колокольне; при первом благовесте Марфа Петровна поспешно одевалась и являлась ранее всех в храм божий. Лев Степанович приходил позже, и то по большим праздникам и в воскресные дни. Марфа же Петровна являлась при всех богослужениях, на похоронах, крестинах, бракосочетаниях. Лев Степанович становился впереди, подтягивал клиросу и бдительным оком смотрел за порядком, сам драл за уши шаливших мальчишек и через старосту показывал, когда надо было креститься и когда класть земные поклоны. Он был любитель и знаток богослужения, он на дом к себе призывал молодого диакона и месяца три всякий день учил кадить и делать возглас, поднимая орарь с полуоборотом на амвоне; диакон действительно так мастерски делал возглас и пол-оборота, что можайские купцы приезжали любоваться и находили, что иеродиакон Саввина монастыря далеко будет понижее липовского.

Монастырь этот был верст тридцать от усадьбы Льва Степановича. Он постоянно посылал туда не столько богатые, сколько постоянные приношения – возов десять прошлогоднего и несколько сгоревшего сена, овес, не годный на семена, сырые и почерневшие дрова. Марфа Петровна с своей стороны делала приношения тоже более ценные по усердию, нежели по чему иному; она посылала в монастырь розовую и мятную воду, муравьиный спирт, сушеную малину (иноки, не зная, что с ней делать, настаивали ее пенным вином), несколько банок грибов в уксусе, искусно уложенных, так что с которой стороны ни посмотришь, все видно одни белые грибы, а как ложкой ни возьмешь, все вынешь или березовик или масленок. Иноки иногда посещали благочестивый дом богоприбежного помещика и всегда находили радушный прием Марфы Петровны, которая любила их и как-то боялась.

Других гостей почти никогда не являлось у Столыгиных. Кроме их двоих, еще проживали у них дядя Марфы Петровны с своей женой. Ехавши из Петербурга, Лев Степанович пригласил к себе дядю своей жены, не главного, а так, дядю-старика, оконтуженного в голову во время турецкой кампании, вследствие чего он потерял память, ум и глаза. Настоящий дядя, не зная куда его деть, намекнул Льву Степановичу, который хотя уже тогда и был в отставке, но все же не смел поперечить особе. Слепой старик был женат на молдаванке, у которой в доме лежал раненый; она была не первой молодости и, несмотря на большой римский нос и на огромные орлиные глаза, отличалась великим смирением духа. Ее Столыгин употреблял на прием талек, холстины, орехов, на чищение ягод, сушение трав, варение грибов; Марфа Петровна, призревая родственников, была уверена, что этим загладит все свои грехи, а может, сделает доступною и свою молитву о даровании детей. Обращение, сложившееся между хозяйками и гостями, было простое, патриархальное. Марфа Петровна называла старика дядей, но жену его не только не называла теткой, но говорила ей «ты» и в иных случаях позволяла целовать у себя руку. Лев Степанович говорил обоим «ты» и обращался с ними так, как следует обращаться с людьми, вполне зависящими от нас, – с холодным презрением и с оскорбительным выказыванием своего превосходства. Он их трактовал, как мебель или вещь не очень нужную, но к которой он привык.

Утро слепой обыкновенно проводил в своей комнате во флигеле, где курил сушеный вишневы́й лист, перемешанный с венгерскими корешками. В час девка, приставленная за ним, надевала на него длинный синий сюртук, повязывала белый галстук и приводила в столовую. Здесь он дожидался, сидя в углу, торжественного выхода Льва Степановича. Горе бывало старику, если он опоздает, тут доставалось не только ему, но и Таньке, служившей при нем корнаком, и молдаванке. Старику повязывали на шею салфетку и сажали его за стол, где он смиренно дожидался, пока Лев Степанович ему пришлет рюмку настойки, в которую он ему подливал воды. За столом старик не смел ничего просить, да не смел ни от чего и отказаться; даже больше двух стаканов квасу (хозяева пили кислые щи, но для дяди с теткой приносили людского квасу, кислого, как квасцы) ему не позволялось пить. Подадут ли дыню, Лев Степанович вырежет лучшую часть, а корки положит ему на тарелку. Марфа Петровна делала то же с зрячей молдаванкой, прибавляя, что это сущий вздор и почти грех думать, что бог так создал дыню, что одну закраинку можно употреблять в снедь.

В редкие минуты, когда Лев Степанович был весел, слепой старик служил предметом всех шуток и любезностей Льва Степановича. «А, добро пожаловать, – кричал он, – добро пожаловать, отец Ксенофонтий! Ей, Васильич (так называл он дядю), не видишь, что ли, отец Ксенофонтий идет тебя благословить». – «Не вижу, государь мой, не вижу», – отвечал слепой. «Да вот с правой-то стороны», – и он посылал Тита благословлять старика, и тот ловил его руку. Лев Степанович хохотал до слез, не догадываясь, что самое забавное в этой комедии состояло в том, что выживший из ума старик, с тою остротой слуха, которая обща всем слепым, очень хорошо знал, что отец Ксенофонтий не входил, и представлял только для удовольствия покровителя, что обманут. Но верх наслаждения для Столыгина состоял в том, чтобы накласть

на тарелку старику чего-нибудь скоромного в постный день, и когда тот с спокойной совестью съедал, он его спрашивал: «Что это ты на старости лет в Молдавии, что ли, в турецкую перешел, в какой день утираешь скоромное». У старика делались спазмы, он плакал, полоскал рот, делался больным – это очень забавляло Столыгина.

Иногда Лев Степанович будил в старике что-то похожее на чувство человеческого достоинства, и он дрожащим голосом напоминал Льву Степановичу, что ему грешно обижать слепца и что он все-таки дворянин и премьер-майор по чину. «Ваше высочордие, – отвечал Столыгин, у которого кровь бросалась в лицо от такой дерзкой оппозиции, – да ты бы ехал в полк – ну, я тебе пришлось не по нраву, прости великодушно, а уж переучиваться мне поздно, мне не под лета; да и что же, я тебя не на веревочке держу, ступай себе в Молдавию в женино именье». – «Лев Степанович, – робко прибавляла Марфа Петровна, – ведь как бы то ни было, он мне дядя и вам сродственник». – «Вот? В самом деле? – возражал еще более разъяренный Столыгин. – Скажите пожалуйста, новости какие! А знаешь ли ты, что, если бы он не был твой дядя, так у меня не только б не сидел за столом, да и под столом». Испуганная майорша дергала мужа за рукав, начинала плакать, прося простить неразумного слепца, не умеющего ценить благодеяний. У старика текли по щекам тоже слезы, но как-то очень жалкие, он походил на беспомощного ребенка, обижаемого грубой и пьяной толпой.

После обеда барин ложился отдохнуть. Тит должен был стоять у дверей и, когда Лев Степанович ударит в ладоши, подать ему графин кислых шей. Иногда в это время Тит бегал в девичью и приказывал по именному назначению той или другой горничной налить ромашки и подать барину, что «де на животе нехорошо», и горничная с каким-то страхом бежала к Агафье Ивановне. Агафья Ивановна, ворча сквозь зубы, сыпала вонючую траву в чайничек. Марфа Петровна никогда не навещала мужа во время его гастрических припадков; она ограничивала свое участие разведыванием, кто именно носила ромашку, для того чтобы при случае припомнить такую услугу и такое предпочтение.

Лев Степанович, запивши кислыми щами или ромашкой сон, отправлялся побродить по полям и работам и часов в шесть являлся в чайную комнату, где у стены уже сидел на больших креслах слепой майор и вязал чулок – единственное умственное занятие, которое осталось у него. Иногда старик засыпал, Лев Степанович, разумеется, этого не мог вынести и тотчас кричал горничной: «Танька, не зевай», и Танька будила старика, который, проснувшись, уверял, что он и не думал спать, что он и по ночам плохо спит, от поясницы. После чая Столыгин вынимал довольно не новую колоду карт и играл в дураки с женою и молдаванкой. Если он бывал в особенно хорошем расположении, то среди игры рассказывал в тысячный раз отрывки из аристократических воспоминаний своих; как покойник граф его любил, как ему доверял, как советовался с ним; но притом дружба дружбой, а служба службой. «Бывало, задаст такую баню, и бумаги все по полу разбросает, и раскричится. Ну, иной раз и чувствуешь, что прав, да и не отвечаешь, надо дать место гневу. Он же у нас терпеть не мог, как отвечают; тогда было жутко, а теперь с благодарностью вспоминаю».

Всего же более любил он останавливаться с большими подробностями на том, как граф его посылал однажды с бумагой к князю Григорью Григорьевичу... «Утром встал я часов в пять. Тит тогда мальчишкой был, не разъедался еще, как теперь, что гадко смотреть, – ну, только и тогда был преленивой и преглупой. Вхожу я в переднюю, насили его растолкал, чтобы скорей за парикмахером сбежал. Парикмахер пришел, причесал меня... тогда носили вот так, три пукли одна над другой; я надел мундир и отправляюсь к князю. Вхожу в переднюю, говорю официанту, что вот по такому делу от графа к его светлости прислан. Официант посмотрел на меня, видит, с двумя лакеями приехал – и говорит: „Раненько изволили пожаловать, князь не встает раньше десяти, а в десять я, мол, камердинеру доложу“. – „А можно, – говорю я ему, – где-нибудь обождать?“ – „Как не можно, комнат у нас довольно. Вот пожалуйста в залу“. Я взошел, люди полы метут да пыль стирают, я сел в уголок и сижу. Часика так через два вышел

секретарь ли, камердинер ли и прямо ко мне: „Вы от графа?“ – „Я, батюшка, я“. – „Пожалуйста за мною к его светлости в гардеробную“. Вхожу я, князь изволит в пудермантеле сидеть, и один парикмахер в шитом французском кафтане причесывает, а другой держит на серебряном блюде помаду, пудру и гребенки. Князь, взявши бумагу, таким громким ласковым голосом мне и молвили: „Благодари графа, я сегодня доложу об этом деле. Мне граф говорил о тебе, что ты деловой и усердный чиновник, старайся вперед заслуживать такой отзыв“. – „Светлейший, мол, князь, жизнь свою предпочитаю положить за службу“. – „Хорошо, хорошо, – сказал князь и изволил со стола взять табатерку, золотую. – Государыня тебе жалует в поощрение“. Как он это изволил сказать, у меня слезы в три ручья. Я хотел было руку поцеловать, но он отдернул. Я его в плечо, князь взглянул на меня да пальчиком парикмахеру показал, – да оба так и вспрыснули от смеха. Я ничего не понимаю, что за причина. А дело-то было просто, целуя светлейшего в плечо, я весь вымарался в пудре. Князь потом за ее величества столом рассказывал об этом, ей-богу». И во всем лице Льва Степановича распространялась гордая радость.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.